

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ: «Я УВЕРЕН, ЧТО ГАЙДАРОВСКИЙ ПИНОК В ЗАДНИЦУ МАТУШКЕ РОССИИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН»

Он считает себя патриотом и хотел бы видеть Россию частью западного мира

Виктория Шохина

Life is...

Паровоз истории мчит с такой скоростью, что вы, проезжая, каждый раз оказываетесь в другой стране...

— Это действительно так. Каждый раз я еду и жду, что увижу нечто ужасное — такое впечатление складывается в основном из-за прессы. Хотя причин для пессимизма достаточно, дело скорее, в самом стиле, в манере подачи информации. Журналистам кажется, что они должны нагнетать состояние предкатастрофного ужаса. Писать о каких-то признаках нормальности вроде неприлично.

— Вы видите здесь признаки нормальности?

— Светофор переключается — уже хорошо, идут троллейбусы с неразбитыми стеклами — очень хорошо, менты стоят, на лапу берут — просто замечательно! Народ суетится, бегает, молодые люди свидания назначают — великолепно! Жизнь становится интенсивнее... Даже книги выходят.

— И ваши книги?

— У меня в «Конце века» вышла под одной обложкой две мои книги об Америке. «Non-story» и «Грустный беби», в «Тексте» скоро выйдет «Московская сага» — тоже неплохо. А вообще я совершенно уверен в том, что все по себе в конце концов раскрутится. Что этот старый проклятый капитализм сам себя начнет показывать, если его не давить. Пока же все, что есть — и коррупция, и расхождение общества, — неизбежно и нормально. На что еще мы можем после всего рассчитывать! Не можем же мы мгновенно превратиться в благостную Норвегию. Я уверен, что гайдаровский пинок в задницу матушке России очень полезен.

— Вам нравится гайдаровское правительство?

— Такое правительство — правительство тридцатилетних

— уникально даже в контексте всей Европы. Это образованные люди нового поколения, говорящие нормальным языком, не мыкающие, не гыкающие. Раньше ведь без фрикативного «гэ» нельзя было сделать политическую карьеру. Я, когда слышу «хэ», путаюсь, что мы опять съезжаем в ту эпоху. Вообще работа людей такого типа в политике необходима. Вся рейгановская революция делалась руками уйру, молодых городских профессионалов, хотя сам Рейган — представитель старшего поколения и опирался на консервативный истеблишмент. Но, как ни странно, их идеи практического толка совпали с общегосударственной идеей президента.

— Все попытки переносить на российскую почву американские модели — как опыты Мичурина. На входе, например, капитализм, а на выходе... Запустили Хайека с Фридрихом — получили Артема Тарасова.

— Нет, не надо копировать Америку ни в чем, мне кажется. Мы сейчас очень сильно американизируемся. Я видел телевизионные программы, которые вели такие, знаете, молодые американцы. Вы смотрите передачу такую-то, оставайтесь с нами!..

— Но это не должно вызывать у вас протеста — вы же штатники...

— Бывший, бывший штатник. Я сейчас гораздо критичнее отношусь к Америке, чем раньше. Америка — это просто страна, где люди живут. Нормально живут, думают о налогах, счетах и прочем. Место жительства. А Россия Америку демонизирует во всех смыслах.

— Ну Россия демонизирует все что угодно. Вот у нас сейчас два основных идеологических лагеря — профессиональные демократы и профессиональные патриоты...

— Они не патриоты, они — губители России!

(Окончание на стр. 5)

«Я УВЕРЕН, ЧТО ГАЙДАРОВСКИЙ ПИНОК В ЗАДНИЦУ МАТУШКЕ РОССИИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Да, но именно в этом лагере в ходу такие понятия, как родина, любовь к родине, патриотизм, демократы же этих слов чужаются. Вас не пугают слова «любовь к родине»?

— Совершенно не пугают. Я считаю себя патриотом. Я люблю Россию. И я... не знаю, может быть, из-за эмиграции я ее еще больше полюбил. Конечно, у меня другая концепция родины. Я хотел бы видеть ее частью западного мира, вот в чем дело. Я считаю, что русские, в силу разных причин, должны беспрекосно стать частью своей этнической группы. Может быть, это звучит и безобразно... Но это действительно так. Россия — промежуточное звено между Западом и Востоком, но может и должна стать звеном соединяющим. Кроме того, Россия — страна западной культуры, страна христианская. И об этом не следует забывать. У «патриотов» главный и единственный пункт программы — антизападнический. Хорош единственный пункт, в котором заложено «анти»... Мы интегрируемся в Запад, Запад интегрируется в нас. И дай Бог этому процессу быть. Должна возникнуть такая ситуация, в которой Запад не представлял бы себя без России. Вообще Россия нужна Западу как часть самого себя. Ведь у Запада была долговременная ностальгия по России.

— Вы помните ваше первое сильное впечатление об Америке, ну, такое, как первая любовь?

— Да, и оно действительно связано с романтичным переживанием. Мне было лет девятнадцать, наверное. И девушка, которая мне нравилась, пересказывала мне своими словами рассказы Хемингуэя из довоенной «Интернационалки».

— Это было на Колыме?

— Нет, это было в поезде, между Москвой и Ленинградом. Она, видимо, так хорошо, так близко к тексту рассказала «Кошку под дождем», что у меня сложился такой астральный образ хемингуэвской прозы. Потом я нашел тексты — это было еще при Сталине. Ну а 59-й год, когда вышел черный двухтомник... — это был, конечно, переворот в сознании молодых литераторов и вообще в сознании целого поколения. Тогда появился Хемингуэй на стенках, свитер грубый, трубка...

— Как писал Кушнер: «Он в свитерке, он в свитерке по всем квартирам висел с подтекстом в кулаке...»

— Да-да. «Ф» любил Хемингуэя — это уже мои стихи, — за что был нещадно бит в дискуссиях крутых друзьями, которые, уж отшумев свои фиесты и усами обзаве-

даясь, любили Фолкнера...»

— А сейчас Фил Фолановф и его создатель Аксенов по-прежнему любят Хемингуэя?

— Я люблю Хемингуэя. Я всегда люблю Хемингуэя. Я его гораздо больше, чем Фолкнера, люблю. Надо сказать, что я гораздо больше люблю Хемингуэя, чем всю современную американскую литературу... Кстати, без русской литературы XIX века не возникло бы Великого Американского Романа. У меня есть спецкурс, который я называл: «Влияние Хемингуэя на Достоевского». Если «Игрока» разложить по параметрам «Фиесты» — просто фантастика! — это почти сколок, темпак. Тот же самый набор: «заграничные русские» и «заграничные американцы», табльдоты вместо кафе, все мужичье крутится здесь вокруг Подины, а у Хэма — вокруг Брет Эшли. Мистер Астлей очень похож на Роберта Кона. Алексей не может любить Полюну, поскольку у него нет денег, а Джейк Барнс не может любить Брет Эшли, потому что у него нет органа любви...

— То есть происходит взаимный обмен: мы им, они нам...

— Происходит, но волнами. XIX век, создавший Великий Роман, соединился с XX веком, создавшим Великий Американский Роман. Сейчас, к сожалению, нет Великого Американского Романа. И нет — Великого Русского Романа.

— Вам не кажется, что наша литературная связь с Америкой как-то прервалась?

— Русская литература находится сейчас в абсолютно ином состоянии по сравнению с американской, которая на 99% стала ингридентом рынка. Книги предыдущего поколения еще были литературой анти-истеблишмента, литературой андерграунда. Но ее очень быстро абсорбировали. Поэтому сегодня американская литература в застое...

Система коммерческого книгоиздания вроде бы стимулирует литературу как способ хорошо зарабатывать, и это нормально. Но, с другой стороны, возникает набор стереотипов. Писатель знает, что если он будет ломать форму, будет экспериментировать, то денег не заработает. И появляется поневоле внутри тебя тот самый внутренний цензор, которого мы здесь изо всех сил душим. Но мы здесь-то душим идеологического цензора, а там приходится душить цензора, так сказать, коммерческого. Свои проблемы...

— Ну, были же в моде Барт, Бартельм, Томас Пинчон...

— Пинчон вообще, по-моему, родил второй роман за 15 лет. Дональд Бартельм — классный писатель. Но

он так никогда и не пробился ни в какие списки бестселлеров. Сейчас, после смерти, его начинают уже канонизировать. И он останется в таком статусе — не для широкой публики. Это, в общем-то, нормально. Да, в Америке существует дальней ряд литературы, не просто серьезной, а того, что называется искусством для искусства. Но он становится все уже и на него все меньше обращают внимания. Скандалов все меньше вокруг, что бы ни произошло, все нормально. Ни свирепости, ни возмущения... Там не может возникнуть, например, какое-нибудь идиотическое антишестидесятичество, как в России.

— Кстати, ваш друг Виктор Ерофеев писал, как его шестидесятники воспитывали: «Скажи: человек звучит гордо», — а он лишь хмуро молчал в ответ...

— Это не ко мне относится. Я его никогда не воспитывал. Тем более что я-то как раз всегда издевался над этим лозунгом.

— Но у вас же есть романтический пафос — идет по росе Хороший Человек...

— Есть, конечно, есть, но не сам по себе, а с иронией, с насмешкой, с сарказмом.

— Может, он Феликса Кузнецова имел в виду?

— Не знаю... С Кузнецовым он не дружил. Я думаю, его поколение создает себе стереотип, которого вообще в природе не существовало. Чтобы утвердиться, этим условно молодым нужен образ врага. И получается какой-то русский идеал-разночинец типа Чернышевского или Добролюбова. Или комсомолец-рамоли... Каким не только я, но и большинство людей 60-х годов не были. Ерофеев — умен, тонок и талантлив, когда он пишет какую-нибудь свою статью. Но на баррикадах литературной борьбы он об этой своей тонкости, очевидно, забывает.

— А что вы вообще думаете о нашей новой литературе?

— Я недавно прочел «Сердца четырех» Владимира Сорокина... Эх... Он явно талантливый человек. В каком-то странном сатирическом аспекте. Он нашел очень хороший прием — shift. Но мне кажется, он начинает работать уже на холостых оборотах, и в конце концов текст превращается... в литературную блевотину.

— По-моему, Сорокин поставил перед собой задачу — опрокинуть все мифологемы советской цивилизации. И выполнил ее.

— Хорошо, я с этим согласен. И это мне очень нравится. Например, когда у него эти вот расчленители в «Сердцах четырех» говорят языком



Василий Аксенов

героев «Иду на грозу» Гранина. Замечательно! Но бесконечно нагнетание ужасов, грязи... Это уже становится чем-то вроде дешевой американской «литературы ужасов». Я понимаю, что речь идет о первородном грехе, доведенном до предела, о метафизике подсознания. Но — работает вхолостую. Бесплодная земля... Обидно, потому что он действительно талантливый человек.

— Что до ужасов... То ведь фольклор у нас тоже веселенький: «Папа на кухне мясо жевал. «Жесткое очень», — он сыну сказал. Петя смущенно глаза опустил: «Я тетю Фросю долго варил»...

— Да, Сорокин работает именно на том же пространстве, а он может работать шире и интереснее. Вот у него есть рассказ «Кисет» — тонкий, отличный рассказ. Он гораздо страшнее, чем все эти ужасы в «Сердцах четырех», вместе взятые. Потому что там точно, до конца, ничего так и не сказано, все остается непонятным, зыбким. И мне кажется, что, если бы его поиск пошел в этом направлении, было бы плодотворнее.

— Джон Барт, например, будучи живым экспонатом постмодернизма, так и не смог определить его.

— Я написал статью о постмодернизме — «Дистрофия толстых и беспредель худых». Теоретически это просто следующая фаза модернизма. И все. Следующая фаза предполагает использование всех течений модернизма в эклектическом, каком-то новом слове. Но не только модернизма — и классицизма, и критического реализма, и соц-арта, и поп-арта, и бог знает чего... Но обязательно в новом слове. В России же возникло такое пред-

ставление, будто постмодернизм строится на обломках. Главное слово здесь — «обломки». Не постмодернизм, а постсоветизм какой-то получается. И в самом деле это не авангардное течение. Ведь авангард отличается прежде всего общим вдохновением. Вот «бубнововалетовцы» собирались на студии Машкова и вместе писали холсты. Им надо было быть вместе, они были одержимы единым порывом... Это очарование миром и желание осветить, преобразить его, создать свой творческий мир. То же было, скажем, и у сюрреалистов в 20-е годы... Общее вдохновение. О культурно-шестидесятников, о той нашей оттепели, никогда не говорят как об авангарде. На самом деле это был бывший авангард, если учитывать поэтическую лихорадку, «бульдозерную выставку», «Метрополь» и все остальные явления эпохи — их было много. А здесь сейчас нет вдохновения, потому что нет вдоха, выход сплошной. Выдохновение... Впрочем, может быть, в этом свое закономерное, ведь нужно как-то выдохнуть всю грязь, скопившуюся в легких. Наверное, и Владимир Сорокин выдыхает. Но опять же встает вопрос: а дальше? Не все же время выдыхать. Мы достигли как бы поверхности свалки. Вот наша страна чудес: свалка, по ней бродят мутанты, жрут друг у друга части всякие — это то, что характерно для нашего постмодернизма. А постмодернизм, по-моему, он довольно светлый, веселый. Он предлагает какие-то новые гармонии — не обязательно слова, язык, а именно новые гармонии... Правда, Александр Бенуа, который сам был ного... Но обязательно в новом слове. В России же возникло такое пред-

ставление, будто постмодернизм строится на обломках. Главное слово здесь — «обломки». Не постмодернизм, а постсоветизм какой-то получается. И в самом деле это не авангардное течение. Ведь авангард отличается прежде всего общим вдохновением. Вот «бубнововалетовцы» собирались на студии Машкова и вместе писали холсты. Им надо было быть вместе, они были одержимы единым порывом... Это очарование миром и желание осветить, преобразить его, создать свой творческий мир. То же было, скажем, и у сюрреалистов в 20-е годы... Общее вдохновение. О культурно-шестидесятников, о той нашей оттепели, никогда не говорят как об авангарде. На самом деле это был бывший авангард, если учитывать поэтическую лихорадку, «бульдозерную выставку», «Метрополь» и все остальные явления эпохи — их было много. А здесь сейчас нет вдохновения, потому что нет вдоха, выход сплошной. Выдохновение... Впрочем, может быть, в этом свое закономерное, ведь нужно как-то выдохнуть всю грязь, скопившуюся в легких. Наверное, и Владимир Сорокин выдыхает. Но опять же встает вопрос: а дальше? Не все же время выдыхать. Мы достигли как бы поверхности свалки. Вот наша страна чудес: свалка, по ней бродят мутанты, жрут друг у друга части всякие — это то, что характерно для нашего постмодернизма. А постмодернизм, по-моему, он довольно светлый, веселый. Он предлагает какие-то новые гармонии — не обязательно слова, язык, а именно новые гармонии... Правда, Александр Бенуа, который сам был ного... Но обязательно в новом слове. В России же возникло такое пред-

1915 году, увидел «Черный квадрат» и сказал, что это мрак...

— И никуда не ведет...

— Да, и никуда не ведет. Он просто не понял движения футуристов, супрематистов. Вообще, конечно, мне очень не хочется оказаться в положении Бенуа.

— Вот ваш «Желток яйца» — авангардный, иронико-метафизический роман. Его как-то не прочитали, уверена — пока не прочитали...

— Почему, прочитали, и кое-кто даже обиделся. Мне Кома Иванов говорил, что Аверинцев хотел выйти из редколлегии «Знамени»...

— Он за Маркса, что ли, обиделся?

— Нет, он обиделся за Кому. Он почему-то решил, что Фил Фолановф — это карикатура на Кому Иванова. Я говорю: «Как странно, я вас, Кома, извините, не имел в виду совершенно». У меня ведь — некая парафраза Пьера Безухова. Оказалось, что это на самом деле близко: Кому в молодости называли Пьером Безуховым.

— А почему вы вдруг пишете «Московскую сагу», которую сами определяете как «хорошую мелодраму», а не «хорошую мелодраму»?

— Дя меня это как раз постмодернистское произведение. Это семейная хроника, драма семьи, изложенная в слегка ироническом духе, может быть, порой даже еле уловимом. И как-то обыгрывающая, конечно, уже существующие саги, в английской традиции... тех же Форсайтов. Или, знаете, такие выпуски с продолжениями: так романы Диккенса когда-то выходили, каждую неделю — как телесериалы. Конечно, я имел в виду и телевизионную поэтику мелодрамы, китч такой.

— А советская, именно советская культура содержит эстетическую энергию?

— Вот, например, фильм «Подвиг разведчика», типичный советский фильм — это замечательный, отлично сделанный триллер. Что касается советской литературы... Я очень люблю Катаева. Если его можно назвать советским писателем, значит, он представляет собой какое-то течение советской литературы, которое я почти полностью приемлю. Эренбург — очень интересная фигура. Или Борис Полевой... Или возьмите Константина Симонова. Он интересен прежде всего как личность, как сталинский Шекспир, как советский суррогат Хемингуэя. Представьте себе: идет линия «лишнего человека», от Евгения Онегина до арцыбашевского

Санина. Потом — стоп! И следующим выходит персонаж, Константин Михайлович, красивый, с тоненькими усиками, очень нужный державе человек, борется за мир. «Россия. Сталин. Сталинград. Три первые ряда молчат. А я, как бомбу, им бросаю...» Человек, готовый на жертву ради того социализма, который возник в начале 50-х... Ну а мы потом, наряду с авангардом восстанавливали линию «лишнего человека», всю эту русскую мерехлюндию. Вообще же советская литература дала мне очень много. Дала сарказм. Мне трудно себя представить без сарказма по отношению к социализму. После его крушения я даже дискомфорт какой-то почувствовал...

— Мне всегда казалось, что соцреализм — химера, выдуманная теоретиками...

— Нет, соцреализм не химера. Симонов, Полевой, Гранин тот же. «Девятый вал» Эренбурга, отчасти Каверин, Федин. Все это соцреализм, и все это — литература.

— В «Ожоге», в «Острове Крыме» и особенно настойчиво в «Московской саге» проходит тема насилия гзистов над «нашими девушками».

— В «Тюрьме и мире» молодой провинциал Вася ждет девушку, а ее снимает Берия...

— Не могу сказать, что эта тема имеет ко мне прямое, личное отношение. Ясно, что этот эпизод с Берией выдуман...

— Ну, Олег Давыдов сейчас бы все объяснил как надо.

— Я видел его статью в «НГ». Ну что тут можно сказать: человек недавно прочел Фрейда, и он его перепал. Странно только, что, когда Давыдов пишет о «музе Аксенова», покровительствующей «Музе Ерофеева», он опирается на гзистскую версию — «не допущенная в страну после каких-то лекций...»

На самом деле я, выноша 50-х, всегда был в положении парии, изгой. Я чувствовал, что не могу подняться выше какого-то определенного уровня из-за своей анкеты, из-за биографии. Наверное, с этим все и связано. Мне казалось, что существуют девушки, недоступные для меня, а доступные для этих ребят. Хотя, как ни странно, когда я писал «Сагу», то вдруг почувствовал симпатию к Берии.

— Действительно, странно.

— Он как-то иначе для меня осветился. Берия, конечно, бандит и злодей, но он не большевик. Я увидел его как антибольшевика. Он человек гедонистический, бабник, блудун. Сталин, этот просто сапожник. У него никакого ощущения кайфа от жизни не было никогда. Если он кого-то там и трал, это все так, неинтересно... Вот Берия у меня там говорит: «Советский Союз должен быть шикарной страной!» Это его идея — шикарная страна! И лидер такой страны должен себя окружать лучшими девушками...

— Красиво! Пусть бы только он девушке кадрил обычным способом, а не при помощи своих генералов...

— Понимаете, он же бандит, гангстер. Он же объясняет Елке: «Сама посуди, как я могу ухаживать за девушками». Нет других возможностей. И внешне такая — нерасбалагающая... А если серьезно, Берия замышляла что-то вроде перестройки. Он предлагал отдать ГДР Западу, распустить колхозы, вернуть на родину депортированных из Прибалтики — все это его идеи. На июньском пленуме 53-го года его эта кода мужицкая судила не за жестокость, не за репрессии, не за пыточные камеры на Лубянке, а именно за антисоциалистические идеи.

— Ну, это просто идеологическое прикрытие борьбы за власть...

— Нет, я уверен, что это на самом деле так и было. Берия хотел задвинуть партию на зад и выдвинуть вперед ГБ. Это была первая, по сути, безуспешная гзбшная революция, направленная против партии. Перестройка, с моей точки зрения, — вторая гзбшная революция против партии. Именно гзбшная — вначале, конечно, не сейчас. Я уже говорил как-то, что идея перестройки вызрела в недрах КГБ. Концепция основная такая: задвинуть партию и выйти вперед с новыми идеями. Конечно, если бы революция Берии удалась, может быть, было бы и хуже, кто знает. Во всяком случае, у него была идея — покончить с этой советской коношью.

— А что вы пишете после «Саги»?

— После русского романа пишу американский, но о русском эмигранте. Речь там будет идти о потере статуса, о кризисе идентичности. Герой — человек масштаба Любимова или Тарковского, не реальной судьбы, а масштаба. На родине он был известным режиссером, там его никто не знает. Он совок, элитарный совок, но совок. Он не может найти себя. Живет двойной жизнью, чтобы совсем враздыг не пойти, придумывает мифы — о своих успехах в Голливуде и т.п. А на самом деле свисает, терпит полный крах...

— Что бы вы выбрали: «Life is bitch» («Жизнь — это сука») или...

— Нет, «Life is beach». Пляж, все-таки пляж.

15 января 1993 г. Москва

Читайте отрывок из нового романа Василия Аксенова на 7-й стр.